

Люция БАРТАШЕВИЧ

Люция Александровна БАРТАШЕВИЧ родилась в г. Ленинграде. Окончила ЛГПИ им. А. И. Герцена, работала учителем. Кандидат филологических наук. Автор ряда статей по современной советской литературе. В «Севере» печатается впервые. Живет в Ленинграде.



КОНЕЦ ЛАДА

Мне не кажется случайным, что хронику конца 20-х годов¹ Василий Белов завершает «Хроникой девяти месяцев»², так как восемь месяцев года великого перелома и январь 1930 были поистине чреватые для России, в первую очередь для крестьянства, величайшей трагедией, плоды которой продолжают отравлять наш общественный организм. Это предвидел А. Платонов. Уже известные читателю полные глубокой исследовательской мысли полотна Ф. Абрамова, «На Иртыше» С. Залыгина, произведения И. Акулова, И. Мележа, Б. Можая — роднит с хроникой В. Белова прежде всего чувство саднящей боли за крестьянство, преступно, по волевному произволу оторванное от земли. Но у Белова своя художественная доминанта. Я ее определяю так: конец лада. Видимо, не случайно одновременно с работой над «Канунами» писатель любовно проводил свое документальное исследование эстетики народной жизни³, а затем с тревогой рассказывал об оскудении северной деревни, в которой безжалостно «наследила» война⁴ и от которой отвернулись власти предрержащие, твердо следуя политической традиции, сложившейся в конце 20-х — начале 30-х годов. Знание крестьянского мира, любовь к нему, убеждение в глубокой его целесообразности вместе с пониманием степени разорения современной деревни и вызвали к жизни «Кануны».

Открывая первую страницу хроники, читатель следит за комически-добродушными препирательствами Носопыря с шаловливым «баннушником», который норвит утащить что-нибудь из

под носа подслеповатого и беспамятного деда. Характерно, что даже одинокий старик радостно ощущает свою общность со всеми: «Вишь, оно... Русь печи топит. Надо и мне». Белова привлекает чувство слитности, слаженности, устойчивости крестьянского мира. Одним из центров его является Дом (в том смысле, как об этом говорили Абрамов, Яшин, да неоднократно и сам Белов), в котором овеществлен труд многих поколений, — теплое, обжитое семейное гнездо. С любовью и гордостью за человека подробно рассказано о задубелой мироновской хоромине — двухэтажном пятистенке с зимовкой и добротными дворовыми постройками. Спокойствием веет от описания вечера в старом рубленом доме Роговых с его ласковым теплом, с запахами шей, березовой лучины, кваса и девичьего сундука с загодя припасаемым приданым. Каждый в семье при деле: Никита режет ложку, Иван Никитич, сидя на полу, вьет завертки, успевая играть с котом и не давая погаснуть сигарке. Аксинья сбивает сметану, Вера прядет куделю, маленький Сережка вяжет вершу. Перед нами мир, который не терпит пустоты. В основе его прочности — труд. Дед Никита с малых лет приучает внука делать крестьянскую работу терпеливо и добросовестно (смазывать дегтем тележные колеса, молотить, не считать, сколько раз нужно съездить за навозом...). Истинный крестьянин любит и умеет работать, пружиняет бездельников и лентяев. Один из мужиков в пору создания колхоза, не ведая, чем для него может обернуться сказанное, гордо замечает: «В бедноту я не пойду, я не зимогор».

Особой любовью писателя по праву пользуется Павел Рогов, человек увлеченный, одержимый, талантливый, который мечтает широко: «Он делает мельницу, выстроит свою деревянную думу, она будет махать широкими крыльями. Над всей Шибанхой. Над всем белым светом замашет, высокая, новая. С резным князьком на амбаре, с ласковым бесконечным шумом камней, она подыметя на юру. Подыметя...» Характерно, что

¹ Василий Белов. Кануны. Хроника конца 20-х годов Москва, «Современник», 1989.

² Василий Белов. Год великого перелома. Хроника девяти месяцев. «Новый мир», 1989, № 3.

³ Василий Белов. Лад. Очерки о народной эстетике. Ленинград, 1984.

⁴ Василий Белов. Раздумья на родине. Тимониха 1965-1984. «Наш современник», 1985, № 6. В кн.: Василий Белов. Очерки и статьи. М., «Современник», 1986.

в самые трудные минуты осуществления этого замысла, требующего подвига, всегда и неизменно поддерживает Павла дед Никита, в котором Белов видит хранителя и защитника лада крестьянской жизни. За строительством мельницы следят жители Шибанихи и соседних деревень, вокруг нее объединяются в труде: объявляют помощи, и каждый считает честью прийти на них и показать себя как работника с лучшей стороны.

В первых двух частях хроники Белов много внимания уделяет описанию бытовой стороны жизни крестьян, раскрывая ее поэтичность, духовность и содержательность. Уже шла речь об описании вечера в крестьянской избе. Многочисленные праздники, о которых художественно щедро рассказывает писатель (масленица, Никола, Казанская божья мать...), чередующиеся с тяжелыми крестьянскими работами, объединяют всех в одну семью, что, конечно, не исключает, например, того, что иной раз кое-кому нанмут бока. Чего в семье не бывает. О жизни деревни писатель говорит, — не скрывая того, что в ней можно осудить, — со всей прямотой. Истории, рассказываемые мужиками, их замечания, частушки Кинди Судейкина, «коротушки», часто имеют солоноватый привкус. Однако эта грубоватость внешняя, она не колеблет нравственных начал, основанных на глубоко уважении к труду, семье. Подробно рассказывает Белов о свадьбе Верушки и Павла. Отношения этих героев как бы боятся внешнего выражения, они овеяны целомудренной поэзией. Так, Вера, мужняя жена, стесняется при людях познакомиться с Павлом. В деревне все на виду. Боязнь суда людского сдерживает и проявления безразличности. Писатель не идеализирует уклад крестьянской жизни, — противное утверждает господствующее в критике мнение, — а просто подчеркивает то, что в ней позитивно.

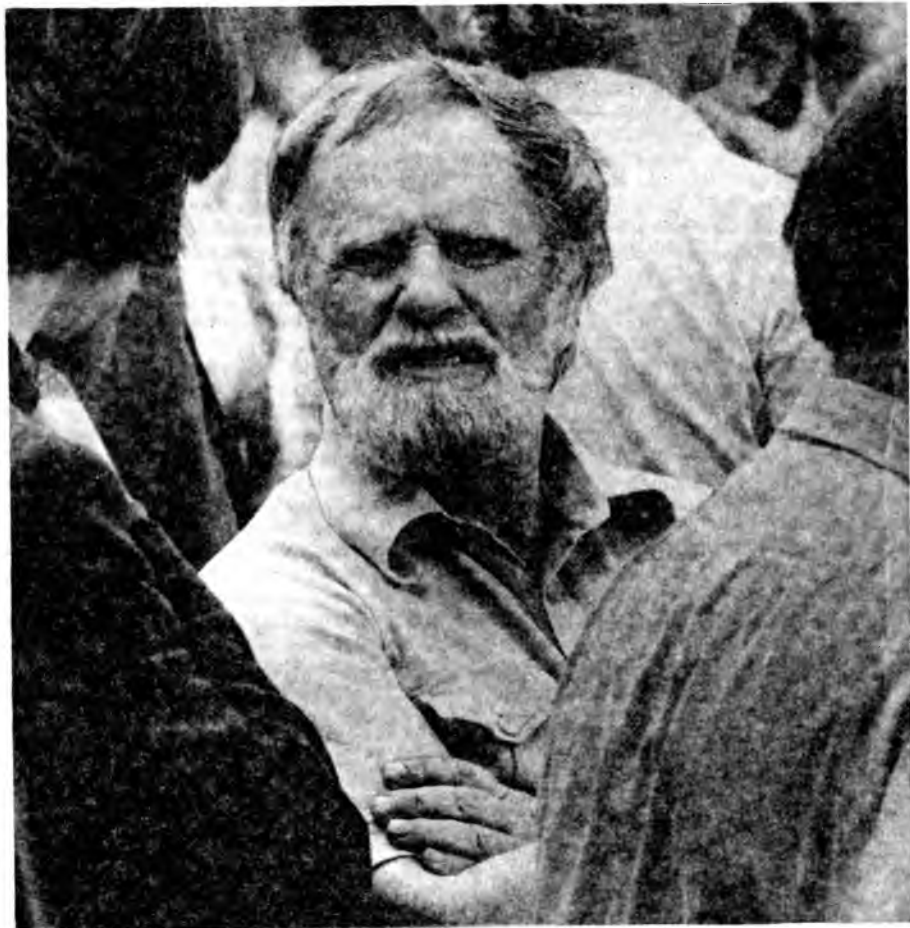
Деревенский человек естественным образом включен в мир природы и ощущает себя ее частицей, так как издревле его труд и отдых определялись сменой времен года, а любая работа выполнялась вместе с домашними животными, становящимися как бы членами семьи. Отсюда, например, взаимопонимание, единство в действиях Павла и Карько, человека и лошади, — в описании масленичного гуляния и т. д. Вообще, природная среда крестьянину родная, он с ней не просто тесно связан, он живет в ней и не может иначе. Многочисленные описания природы, поэтичные и точные, — естественная необходимость для Белова. То залюбуешься «сниими знобящими звездами», то зачарует световым раздольем роговская поляна, то глазами Павла взглянешь на «великую сосну», гордую «своей отдельной красотой», то раскроется простор полей с высоты шибановского обрыва... Здесь Белов мастер, и во всех этих картинах торжествует любовное чувство к родной земле. Но к третьей части хроники почти начисто исчезают картины природы, разрушается музыкальный лад авторского языка. Это не случайно.

При вдумчивом и внимательном чтении можно почти с первых страниц ощутить: лад деревенской жизни дает трещину. Шибановцы и ольховцы играют свадьбы, ходят на праздники, поют песни, сочиняют частушки, но в душу крадется

чувство тревоги. Думается, на поляне, залитой «слепящим солнцем», так спокойно! Но вот «сосна-великанша», должна встать в основание Павловой мельницы, подрублена: «Казалось, ничего и нигде не случилось. Все так же ослепительно сверкали снега и горело в синеве косматое солнце. Вдруг от какого-то далекого сигнала, может, от чьей-то далекой, холодной мысли повеяло в кроне неуловимо-шемящей тревогой». Это как предвестие судьбы Павла и его чудо-мельницы, которую задумал он строить в «ненадежное» время. Вот и Шибаниха «тайнственно и ехидно» молчит «под круглой, нечаянно ясной луной». Что таит в себе? Что будущее сулит ее обитателям?

Расхристанный, размахивающий газетой Игнаха Сопронов врывается прямо в алтарь во время свадьбы Верушки и Павла, нарушив поэзию и таинство веками сложившегося обряда. Стариков, выпорванных Сельку Сопронова за творимые безобразия, арестовали и придали делу политический характер, хотя именно так всегда учили в деревне молодежь уму-разуму. Начиная твориться что-то непонятное. Деревня забродила. В серьезных крестьянских разговорах речь идет о ТОЗе, коммунах, кредитах, маслоартели, нэпе, о колхозах, о штрафах, налогообложении, лишении избирательных прав и многом другом, что не может не волновать. Многие суждения мужчин пророчески справедливы. Африкан Дрынов замечает: «Нэп отменят, так это дело и по бедноте тоже стукнет. Второе дело, беднота бедноте — рознь! Вон приказ поступил: кредиты выдавать одной бедноте. А иной бедноте кредит — как мертвому припарка». С презрением крестьяне говорят о бедняке-лентяе, который деньги прожил, но не завел ни плуга, ни лошади. Жизнь была поставлена с ног на голову. Не объяснишь, почему государство технику дает лишь коммуне, а ТОЗу — нет. Почему маслоартель, приносящая большой доход, которая объединяет почти всю Шибаниху и Ольховку, не колхоз? Почему «дикий», то есть созданный самими крестьянами, колхоз — не колхоз, а нужно создавать другой, по указке свыше? Налоги и штрафы давят. Под угрозой утери имущества семьи начинают делиться; люди, все бросая, бегут из деревни, идут работать на лесоповал. Дед Евграф делает вывод: «Пришло, значит, такое время мужиков к ногтю».

В начале хроники, под первым документом (все с грифами «срочно» и «секретно»), который читает председатель сельсовета Микуленок, появляется фамилия Меерсон, угрожающее значение которой раскрывается позднее. Бумага говорит о необходимости проработки материалов XV партсъезда, тезисов ЦК и контррезисов оппозиции. Микуленок отделяется отпиской на непонятные требования, отмечая: «чуждых элементов» в сельсовете и на его территории нет. А далее Белов подробно прослеживает действия троцкистов, сыгравших зловещую роль в выделении «чуждых элементов», в уничтожении крестьянства. Никакие Микуленки уже не в состоянии были ограничиться отписками — от них требовали действий. Третья часть хроники рассказывает о том времени в жизни деревни, когда, по словам Белова, людские судьбы висели на тонком волоске. На людей, произвольно поделен-



Василий Белов

ных на три группы, навешивались ярлыки, как клейма: одного называли «правым», другого обвиняли в кулацкой идеологии. Любая реплика на собрании расценивалась как «кулацкая» или «бухаринская».

Происходили странные, дикие вещи. Все привычные понятия оказались вывернуты наизнанку: приходилось скрывать свои мысли даже от близких, молодые не слушались старых, люди стали ненавидеть друг друга, дети дрались из-за родителей, крестьян отрывали от привычной работы — пошатнулась отлаженная ценностная система. Деревню свернули с накатанного большака на ухабистую дорогу. Белов так характеризует состояние Никиты Ивановича Рогова, хранителя гармонии крестьянского мира: «В душе старика не было ни покою, ни ладу, равновесие плоти и духа не приходило уже много дней». Самые серьезные и основательные мужики доискивались причин ухудшения положения в деревне и находили его истоки в действиях Сталина и Молотова, а то и «где-нибудь подальше». Белов достаточно подробно исследует создавшуюся в конце 20-х годов политическую обстановку в Рос-

сии, называет конкретных виновников начинающейся трагедии, безразличных к России, крестьянству, занятых личными амбициями, приложением затверженных политических доктрин к живым людям. В издании «Канунов» 1989 года писатель уточняет ряд политических характеристик, включает те моменты, которые в свое время не могли быть обнародованы. Вместе с «Годом великого перелома» «Кануны» очень определенно выражают историческую концепцию Белова.

Трагические нити смуты, разлада тянутся от революции, «унесшей в своем знобящем вихре миллионы жизней», цена на которые резко упала. Всеобщий разлад предвидит Прозоров в разговоре с Лузиным: «Вы хотите вселенской борьбы. Но дурак пойдет с топором против умного... Нет духовной узды, простор, свобода страстям человеческим. Убить человека во имя идеи — раз плюнуть». Коллективизация ставит народ перед очередной трагедией. Сталин, разгромив троцкистов, взял на вооружение идею насильственной коллективизации у Троцкого. «Троцкий по отношению к крестьянину был абсолютно прав: эти мешки с дерьмом действительно не годятся

даже на баррикады», — делал он вывод. Поэту Томский и Рыков для Сталина — «бухаринские выкормыши», у него возникает идея приблизить Кагановича, становящегося палачом крестьянства, рождается желание ужесточить позицию комиссии Яковлева, вынашивается идея о «перенаселенности» русских и украинских деревень, ведущая к геноциду. То, в чем со всей определенностью нужно видеть преступление, расценивалось из-за совершенно ложного представления о крестьянстве как великий социальный эксперимент. С восторгом Горький писал Сталину в 1930 году: «Уничтожается строй жизни, существовавший тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника. Таких людей — два десятка миллионов. Задача перевоспитать их в кратчайший срок — безумнейшая задача. И, однако, вот она практически решается».⁵ Так мог думать лишь тот, кто не понимал великой подвижнической любви крестьянина к земле, видел в желании мужика после революции вернуться к порушенному хозяйству узкособственнические интересы. Именно с таких позиций подходили в конце 20-х годов к деревне ее «преобразователи»-насилыники. Не останавливаясь на подробностях картины этого времени, лишь подчеркну, что, благодаря ей, каждое лицо хроники выглядит масштабнее, так как занимает в ней свое исторически определенное место.

Страшно и горько, но разорение деревни производилось руками своих, местных. Писатель знакомит нас с разнообразными типами руководителей. Здесь и молодой, бесшабашный, не умеющий всерьез задумываться председатель сельсовета Микуленок, исчезающий бесследно из поля зрения и опозоренной Палашки, и шибановцев, и читателя. Здесь и сочувствующий крестьянам, понимающий их участник гражданской войны Митька Усов, потом председатель колхоза «Красный Луч». Именно у него «ныла почему-то» душа, когда нужно было проводить раскулачивание. Но и Митьке казалось достаточным дожидаться начальственного телефонного звонка, чтобы разрешить возникшие были сомнения. В начале 20-х рвется молодой заведующий клубом, гордый тем, что является должностным лицом, паскудник Селька Сопронов, впоследствии принятый в партию. Чем ограниченнее человек, вознесенный над другими властью, тем меньше усилий и времени нужно для того, чтобы он оторвался от людей и стал полным ничтожеством. Об одном из председателей колхоза у Белова сказано: «За день у него сложилась новая, уже председательская походка», а человеческого в нем, ставшем частью механической системы, ничего не осталось.

Наибольшей удачей Белова в создании образа сельского руководителя является, вне всякого сомнения, Игнаха Сопронов, человек, жизнь которого прошла у деревни на виду. «А наш-то Игнаха от нас самих. Сами взрастили», — замечает дед Никита. Игнаха — бедняк из бедняков (о нем говорят, что муки у него нет, а ларь давно сожжен в печи) прежде всего потому, ви-

димо, что не привык работать, не ощущает связи с землей. Ему ненавистна мысль, что он, как червяк, будет в ней возиться. Впоследствии запрещает жене пахать: «Хватит, покопались в земле! Да еще в навозе...» В крестьянах, для которых святы труд, дом, семья, земля, родная деревня, он не вызывает уважения. Писатель подчеркивает: ему легко сниматься с места — ничто не держит («счет потерял скитальческим дням»). Мужики говорят о нем — «тилигрим». Да, он странник, проходимец, склонный к цыганской жизни. Недаром антиподом Сопронова является Павел Рогов, хозяйственность, спокойствие и сила которого раздражают Игнаху пуще всего, заставляют видеть в Павле «непримиримого врага» и приводят к схватке на роговском сеновале, когда Игнаха хотел убить ненавистного противника. Если Павел в полном и высшем смысле слова крестьянин, то Игнаха — деклассированный элемент; он чужой в деревне, несмотря на то, что живет в ней. Потому ему легче выполнить роль разрушителя крестьянского уклада. Он оказывается прекрасным орудием для этого, так как подрубил свои социальные корни. Именно на подобных людей чаще всего опирались организаторы проведения коллективизации. Сопронов оказался нужен даже при всей неблагоприятной для советской власти пестроте своей биографии (обвинение в троцкизме, утрата партбилета, снятие с должности). Интересно, что он чувствует эту свою необходимость и держится с наглой уверенностью, с издевкой и презрением, с тайной гордостью за какое-то превосходство, ему самому пока неясное. Окружающие, наблюдая за действиями Игнахи, постепенно прозревают их зловещий смысл, чувствуя за Сопроновым злую силу.

Белов неоднократно подчеркивает, что Сопроновым движут озлобленность и ущемленное обидами самолюбие. Для него, непахавшего и несеявшего, все кажется защиточными — рождается желание мстить. С этой целью он и появляется в деревне после скитаний. В оскорбленном им Павле, подвезшем его до Шибанихи, он видит врага, притеснен в однодеревенцах (люди говорят о нем с осуждением — «горд», «брезгует»), никому не подает руки; явившись в сельсовет, требует документы у знакомых ему людей, выкладывая на стол наган. Павел, встречая Сопронова, не желающего уступить дорогу, думает: «Опять с ружьем». И хотя Ленин у Н. Погодина провозглашает: «Теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищен трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров», но именно ТЕПЕРЬ (имею в виду время, изображенное Беловым) и приходится бояться, так как оружие вложено в руки человека озлобленного, убежденного, что мир живет под властью страха и силы, неумного, произвольно представляющего или даже совсем не представляющего границы между трудящимися и эксплуататорами, «не обремененного» нравственными заповедями, ненавидящего людей. Чем дальше, тем больше он распоясывается, чувствуя свою безнаказанность. Игнаха по своему произволу определяет социальное и имущественное положение крестьян. Мало кулаков получается — помусолив карандаш, можно в список добавить еще. Колхоз создать —

⁵ Известия ЦК КПСС. 1989, № 7, стр. 215.

это мы враз! Отобрать у крестьянина нажитое трудом своим — проще простого. «Обверхушить» кого-нибудь, хоть Митьку Усова, — не проблема. «До тебя ишло дело не дошло», — говорит он то ли всерьез, то ли шуточно. Донести вверх для него — разлюбозное дело! Идею раскулачивания Игнат принимает с радостью: «Пришли, пришли знатные времена. Дремаť некогда. С кого бы начать? Знаем, с кого начать...». Игнат крепко ввинтился в порочную систему, усвоил мысль о правильности классового подхода и долдонит о кулаках, уклонах, «чуждых элементах». Восприняв вступление в партию как компенсацию за свое бедняцкое происхождение, дающую право распоряжаться чужими жизнями, он злорадствует: «Ничего, еще прижмут хвосты, запоют не то. С нэпом-то, по всему выдать, товарищ Сталин разделается...»

Поначалу к Сопронову крестьяне относятся хотя и с презрением, но с жалостью (непутевый, убогий мыслью и словом, нелепый в поступках, ничего не имеющий, какой-то бездомный...). Сильные и справедливые великодушны. Кроме того, трудно понять, как «свой» Игнаха может стать врагом всей деревни. Когда Сопронов не дает Павлу везти зерно на продажу, Павел смотрит «спокойно, с какой-то грустной усмешкой», Сопронов — «тревожно и с ненавистью». Палашка, повинувшись чувству элементарной жалости, не дала Игнахе утонуть. Но любое доброе движение чужой души Сопронов отвергает, как отвергает он протянутую для приветствия руку, будто не замечает. Он сам, своим поведением создает врагов себе и советской власти. Павел, пришедший к Игнахе мириться, говорит, что тот не делает его врагом.

«— Будешь, — Сопронов ухмыльнулся. — Еще как будешь!

— Это почему так?

— А потому что ты и сейчас... Первый мой недруг! Это нам на роду было написано, врагами родились».

Мир Сопронова, полный яда и ненависти, разрушителен и страшен.

Кто же он, Игнаха Сопронов? Исчадие ада? Человек со зверскими наклонностями? Садист? Нет. Громкие эти и подобные определения к нему не подходят. Никакими особыми внутренними качествами он не обладает. Уверенность в себе чувствует, ощущая за спиной силу партийной и административной власти. Этакий деревенский Шариков, руководимый своим Швондером. Побуждают его к действиям отнюдь не высокие идеи, хотя он считает, что служит революции лучше «липовых коммунистов», а эгоистические, мелкие и личные чувства. «Бесовское» в Игнате проявляется в самом пошлейшем, низменном смысле. Также он не имеет ничего общего с романтиками революции, вроде Нагульнова, и активистами Платонова, которые, безоглядно поверив в коллективизацию, социализм и «завтрашнюю» мировую революцию, не ведают, что творят. Не похож Сопронов и на очень распространенный в литературе тип «перегибщиков», которые обычно рекрутируются со стороны, из чуждой крестьянской социальной среды. Не напоминает он и можаевского «теоретика» Тяпина, считающего, что коллективизация важнее войны, так как идет борьба со всей частной собственностью. Пожа-

луй, Игнат ближе таким, как приспособленец Прокофий Дванов («Чевенгур»), но тот удобно ограничил свою роль тем, что «формулирует» идеи.

Василий Белов Игнаху Сопронова, как художественный тип, извлек из самых глубин народной жизни, он ясно увидел, какая питательная среда нужна для формирования этого типа, и показал социальные последствия этого. Деклассировавшись, не приняв этических принципов, которыми руководствуется крестьянство, Игнаха рассматривает свою деятельность как возможность уйти в управленческий аппарат (вот откуда торжествующая серая масса советской бюрократии, с которой предстоит еще долгая борьба) и никогда не возвращаться к земле. Удобным человеком оказался Сопронов. Нельзя не согласиться с утверждением Ю. Селезнева: «По своему отношению к миру, к людям он — готовое орудие внедрения самой этой сути троцкизма (вспомним отношение Троцкого к народу. — Л. Б.) в традиционный уклад жизни родной деревни».⁶ Хуже всего еще и то, что Сопроновы заменяемы, их много, и они легко генерируют себе подобных.

Игнаха Сопронов, выписанный крупным планом, внутренне связан с деятельностью многих исторических и созданных воображением писателя действующих лиц, которые определяют его поведение. Здесь и Троцкий, раскидавший «семена своих антимужичьих идей на тысячеверстных пространствах поверженной Российской империи». И Сталин, солидарный с Троцким в пренебрежительном отношении к русскому мужику. И Меерсон, директивы которого Сопронов выполняет, и Ерохин, к которому Игнаха приходит после того, как партия отказала ему в доверии, и многие другие. Мне, однако, кажется, что все эти фигуры: Троцкий, Сталина, Кагановича, Яковлева, Поскребышева, Меерсона, Скачкова — мелькают перед нами с хроникальной скоростью и дают куда меньше пищи для размышления, нежели психологически точное исследование «своего», «шибановского» активиста.

Масштаб происходившего в северной деревне начиная с 1928 года позволяет Белову говорить о судьбе всей России. Собственно, этим и определяется истинное значение беловской хроники. Писатель строит произведение как бы концентрическими кругами, все расширяя и расширяя границы своего проникновения в жизнь. Банька деда Носопья, Шибаниха, Ольховка, Москва, в которую Данило Пачин и поп Рыжко едут к Калинину, чтобы восстановили в правах, московское житье шибановского Петьки Штыря и Арсения Шилового, в прошлом рабочего, которого учили и выучили убивать, научив подчиняться («Кому-то надо, — твердил он сам себе...»). К шибановскому житью-бытью все время тянутся нити из Москвы, Вологды, Архангельска, а в последней книге переплелись трагедии России и Украины.

Белов широко и разносторонне представил все сословия: крупным планом дано крестьянство в многообразии типов и характеров, просле-

⁶ Юрий Селезнев, Василий Белов. Раздумья о творческой судьбе писателя. М., «Советская Россия», 1983, стр. 98.

живаются судьбы протоиерея Николая Ивановича Перовского (поп Рыжко), благочинного Сулоева, дворянина, «омужичившегося интеллигента» Владимира Сергеевича Прозорова, сказано о многих деятелях новой административной системы, рекрутируемых из разных слоев общества.

Авторское понимание России передано прежде всего через Прозорова. Судьба так распорядилась, что ему, сыну крестьянки и дворянина, студентом помогавшему социал-демократам, воевавшему в гражданскую на стороне красных, тесно связанному образом жизни с Шибанихой, не безразличен мужик. Владимир Сергеевич считает, что «в сущности, ведь все люди в мире пахари...» Даже природу он воспринимает как бы через призму отношения к крестьянину: излучины речек, выходящие по травяным поймам, напоминают ему «голубые вены крестьянской руки». Родная деревня для него «загадочна», «желанна», «враждебна», «священна» и «дорога». Склонный к созерцанию и размышлению, Прозоров думает о своем месте в мире, в этой конкретной забаламученной Шибанихе, которая ему близка. Но нужен ли он ей? Как жить? Толстовские нотки слышны в мыслях Прозорова, в его поисках лада, гармонии, согласия с самим собой, в его исканиях смысла жизни.

Прозорову принадлежит наиболее значительные мысли о России. «Россия, Русь...— думал он снова и снова.— И что за страна, откуда взялась? Отчего так безжалостна к себе и своим сыновьям, где пределы ее несметных страданий?» Точка зрения Владимира Сергеевича на современные события выявляется во время частых вечерних споров с Перовским и председателем Ольховского ВИКа Лузиным о правомерности тех или иных путей преобразования России. Лузин хочет построить новую жизнь, сообразуясь со своим классовым сознанием,— собирается уничтожить все сословия. «То есть всю Россию?» — замечает Прозоров. «Допустим, что у вас есть право все переделать, в чем я весьма и весьма сомневаюсь. Но, Степан Иванович, разве можно все разрушать?» Россия, по мнению Владимира Сергеевича, не возродится из пепла, как птица Феникс, ибо отрыв крестьянина от земли губителен. Жизнь убеждает в правоте Прозорова. Кстати, он не одинок в своих представлениях о трагической судьбе крестьянской России. Шустов, бухгалтер маслоартели, отказавшийся во время чистки от членства в партии, мотивирует этот шаг тем, что с Россией обращаются, как с головешкой: «Чем больше ее колотишь, тем шибче она, матушка, горит». И крестьяне говорят: «Пропала, видно, Расея».

Прозоров, высланный в Архангельск, несмотря на то, что готов был помогать советской власти, продолжает додумывать свои мысли о трагической судьбе России. С опозданием читая в камере статью Сталина «Год великого перелома», он видит себя участником «грандиозной мистификации», статистом «необъятного по масштабам спектакля, проводимого на просторах России, среди развалин еще совсем недавно великого государства». Взгляды Владимира Сергеевича приобретают в последней части хроники несколько иной характер под влиянием бесед с доктором Преображенским, активно не при-

нимающим новой власти, утверждающим, что выбор для России в 1917 году был, но русская интеллигенция просто не хочет признать свои заблуждения и ошибки. В высказываниях Преображенского чувствуются отголоски сегодняшних споров о прошлом России. Доктор считает: большевики победили не потому, что наобещали народу золотые горы, а потому, что англичане не прислали Колчаку патронов. С Преображенским почти во всем можно согласиться, его цельность и последовательность Белов подчеркивает отсутствием контраргументов у собеседника. Но вот поверить в то, что вместе с Преображенским к Прозорову пришло «преображение», не могу, то есть «преображение» скоропалительно, доказательства словесные, а из мыслей Прозорова ушла живая теплота чувства.

Вообще последняя книга хроники, с моей точки зрения, написана неровно. Ощутимы композиционная рыхлость, торопливость, но особенно обидно, когда удивительно пластичное беловское письмо негармонично соседствует с излишне пространными историческими экскурсами и цитированием документов. Они могут, даже должны здесь быть, тем более что перед нами хроника, а не роман, но во всем нужны мера, чувство «соразмерности и сообразности», по словам Пушкина. Да и насколько сильнее голос художника, когда он во власти своего дара. Свидетельство этого в последней книге — совершенно поразительные страницы, то полные трагического пафоса, звучащего, как набат, то тяжко гнетущие непомерной горечью, то грустно-лирические.

Начнешь читать шестую главу — и вдруг задрожит сердце, пронзенное болью,— понимаешь, что Белов вновь заговорит о родных шибановских и ольховских мужиках. «Зима в тот год стояла необычайно мягкая, почти без лютых морозных окриков. Спокойно слетала она на землю, словно последняя сильная милость судьбы, потраченная временем из небесных, казалось, неиссякаемых источников справедливости и добра». Потом замер воздух, исчезли звуки — послышался дальний печальный звук. «И эта печаль приближалась и нарастала...» Полетели косые снежинки, потом заметались «голодные ветры», снега «заклубились в тесноте и во тьме». Третья и ночи бесновалась природа, а потом «уступила» Русь «тишине и морозу».

...В урочище Сухая курья работают шибановские, ольховские и прочие лесорубы. Свообразно налаженный быт. В очаге горит жаркий березовый огонь. Павел Рогов, как всегда,— в мыслях о работе, доме, Вере... Заменявший «стихотворца» Киндю Судейкина мужик рассказывает бухтины. Но этот затерянный в лесах островок спокойствия окружен морем человеческих страданий. Сухую курью велено очистить для спецпереселенцев. Возвращающийся домой Павел, оттого благодушно настроенный, потрясен встречей с украинкой Параской, неизвестно почему привезенной на Север не для жизни, а на погребель, на руках которой умерший ребенок, ее первенец. Павлу «почудилось вдруг, что это не она, не украинская выселенка, а его жена Вера брела по морозу под хмурыми елками». Его мрачные предчувствия имели под собой почву. Красной галочкой, означающей немедленный расстрел, скоро пометят имя его отца. Сам он,

до последней минуты не расстающийся с мыслями о мельнице («мука любой власти нужна»), провалится под лед, заболит. И брату, предлагающему скрутить Сопронových, устало скажет: «Этих скрутим, другие явятся». А в полусне-полубреду он увидит свою ветрянку без крыльев. Характерно, что именно Павел, в котором Белов видит лучшие качества крестьянина, дольше всех не сдастся насилию времени. Но даже и в его душе разрушается гармония. Ломается судьба красивого и талантливого человека, который так много может дать жизни.

Белов говорит о бессмысленной жестокости происходящего. Прозоров во всем видит «приближение хаоса». Он не боится страданий для себя — «страшней во сто крат торжество зла», «мировое зло» может воплощаться и в «белом» Мудьюге, и в «красных» Соловках. Не стоит ли Россия «на пути самоуничтожения»?

Глубокий обобщенный достигает Белов, рассказывая об участии переселенцев с юга. Все прибывают и прибывают переполненные эшелоны, в которых люди умирают от дизентерии, от тифа и долго находятся вместе с живыми. Беззащитно и холодно отделивают кормильца от семьи, детей — от родителей. В Вологде спецпереселенцев помещают в церкви Андрея Первозванного (распятый впоследствии на кресте, Андрей Первозванный — первый из апостолов, призванный Христом), а увозит мертвецов — поп Рыжко. Перовский осознает всю меру издевательства над человеком: «Уже разверсты врата преисподней... Да чем лучше поверх-то земли?» Его мысль обращается к историческим аналогиям: смутные времена, сорок монахов, заживо сожженных в прилуцком храме, Литва и русские воры, которые грабили и насильничали. Бешабашный, непутевый весельчак, озорник и охальник поп Рыжко, не веривший ранее, сейчас обретает веру, потрясенный глубиной и всеохватностью человеческих страданий. В кризисные периоды общественного развития нам иногда остается лишь возможность уповать на силы небесные. Так и в настоящее время усиливает позиции именно религиозное сознание, которое единственно не дает внутренне сломаться человеку, погруженному в разрушительную стихию.

Думаю, совсем не случайно центральные события четвертой книги Белова происходят именно в соборе и эмоциональное комментирование их отдано священнику Перовскому. Церковь в русской истории занимала особое место. В страшную годину у нее искали поддержки. И дело совсем не в особой религиозности русского народа — этого Белов как раз не подчеркивает; дело, скорее всего, в спасительной силе совместного укрепляющего душу переживания, помогающего человеку. Собор, церковь, мона-

стырь — это то место, где человек в любых, самых трудных обстоятельствах всегда мог чувствовать себя в безопасности. Но в ту пору, когда святое втоптывают в грязь, когда потеряло цену самое ценное — человеческая жизнь, единственная и неповторимая, когда традиционные, привычные понятия и представления как бы взорваны изнутри, — все предается поруганию в мире хаоса и абсурда. Сбитые в кучу переселенцы под сенью собора, в монастырских стенах, наоборот, отданы произволу власти имущих, обречены на мучения и смерть, но ведь не они грешники. Символична картина, написанная Беловым: «Монастырь являл собой невиданный, как бы не совсем и здешний образ: собор стоял посреди человеческого кала, горящих костров и жалких пожитков. В кострах горели надмогильные кресты и лестничные перила, ступени церковных папертей и монашеских келий. На смотровой башне, как в смутные времена, перетаптывался воин смотрящий, но выглядывал он не наружных врагов, а обитателей внутренних».

Картины, созданные писателем, приобретают все более обобщенный характер. Измученные люди в соборе затишают лишь в короткие предутренние часы: засыпают матери, старики, замолкают младенцы, «ненадолго отдохнув от страданий». Это внезапное успокоение так напоминает предвестие смерти. Особенно больно читать об исстрадавшихся младенцах (они-то за что? Даже чужих-то грехов разделить еще не могут!), тогда же заставляющих вспомнить не прощаемую Достоевским «слезинку ребенка». Дитя обвиняет: и тот, который должен родиться у Веры в трудный для России час, и мертвый Федько на руках Параски, и те, которые в соборе. Когда красноармейцы требуют выдать священника, соборовавшего ночью мертвых, то в замершей тишине слышен лишь голос младенца, который плачет за иконостасом. Белов еще более усиливает значение этой важной для него подробности: «Тишина и темь в соборе стали еще страшнее, только плакал младенец». Он сродни тому блоковскому «причастному тайнам» ребенку, который знал то, чего не знали другие. Вечные ценности на нешадно колеблемых весах жизни приобретают для Белова особый смысл. Их он спасает в преступное время, приведшее к катастрофе, их защищает, оберегая мир от осквернения и поругания. Мне кажется, что, несмотря на некоторые отмеченные художественные неслаженности, свойственные последней части хроники, именно в ней писатель нашел для себя нечто существенно новое. Конец лада деревни Шибанихи, жизни всего крестьянства, России, страны возвышен им до общечеловеческой трагедии.